

Тогда, тщательно исследовав свое «Я», я понял, что могу вообразить, что у меня нет тела, что внешнего мира не существует и не существует места, где я нахожусь, но, несмотря на это, я не могу вообразить, что я не существую; напротив, самый тот факт, что я могу подвергнуть сомнению реальность других предметов, заставляет сделать ясный и четкий вывод, что я существую; в то время как, если бы только я перестал мыслить, даже в том случае, если бы все, о чем я когда бы то ни было успел помыслить, соответствовало действительности, у меня не было бы основания полагать, что я существую: отсюда я заключил, что я есть существо, чья суть, или природа, заключается в мышлении и не только не нуждается в месте существования, но и не зависит в своем существовании от каких бы то ни было материальных предметов. Следовательно, это «Я», то есть душа, благодаря которой я есть то, что я есть, совершенно отлична от тела, легче познается, чем тело, и, более того, не перестанет быть тем, что она есть, даже если бы тела не существовало.

René Descartes. Discours de la méthode

Сильвия. А теперь будем серьезны. Звезды предрекают, что я выйду замуж за человека выдающегося, и я ни на кого другого и смотреть не стану.

Дорант. Если бы речь шла обо мне, я чувствовал бы себя в опасности: вечно боялся бы, вдруг ваш гороскоп сбудется — с моей помощью. В астрологии я абсолютный атеист... зато в личико ваше верю свято.

Сильвия (*себе под нос*). Вот назола! (*Доранту.*) Прекратите-ка эти ваши штучки! Вы к моей судьбе касательства не имеете. Вам-то что за дело до моего гороскопа?

Дорант. А то, что там не предсказано, что я не влюблюсь в вас.

Сильвия. Ну и что? Зато там предсказано, что на пользу это вам нисколечко не пойдет, и слово даю — это уж точно. Полагаю, вы окажетесь способны говорить о чем-нибудь, помимо любви?

Дорант. Если только вы окажетесь способны ее не пробуждать.

Сильвия. Ну в самом деле, это возмутительно! Я вот-вот выйду из себя. Раз и навсегда приказываю вам перестать быть в меня влюбленным!

Дорант. Как только вы перестанете быть!

Marivaux. Le Jeu de l'amour et du hasard

I

Их обычно изображали в виде юных, прекрасных, застенчивых дев, любивших уединение; они чаще всего являлись в разных одеждах, соответствовавших тем искусствам либо наукам, которым покровительствовали.

Lemprière. Under «Musae»

ОНО сознавало, что погружено в пронизанную светом бесконечную дымку, как бы парит в ней, словно божество, альфа и омега сущего, над океаном легких облаков, и смотрит вниз; потом, после неопределенно долгого перерыва, уже не испытывая такого блаженства, ОНО восприняло чуть слышимые звуки, размытые тени где-то на периферии сознания... Это резко уменьшило ощущение бесконечности пространства, витания в эмпириях, создав впечатление чего-то гораздо более тесного, вовсе не такого вместительного и дружелюбного. Оттуда, словно в неотвратимом стремительном падении, ОНО услышало, как тихие звуки нарастают, обращаясь в голоса, увидело, что размытые тени фокусируются, превращаясь в лица. Будто в неизвестном иностранном фильме — ничто не казалось знакомым: ни язык, ни место действия, ни

состав исполнителей. Образы и эмблемы проплывали, то сливаясь на миг, то разделяясь вновь, как мириады амёб в озерной воде, в деловитой, но бесцельной суете. Эти сочетания форм и ощущений, соединения морфем и фонем возвращались теперь, как алгебраические формулы школьных дней, когда-то бессмысленно заученные наизусть и навсегда отложившиеся в мозгу, хотя к чему их можно было бы теперь применить, зачем они вообще существуют — давным-давно накрепко забыто. Оно явно обладало сознанием, но не обладало ни местоимением — тем, что позволяет отличить одну личность от другой, ни временем, что позволяет отличить настоящее от прошлого и будущего.

Еще некоторое время блаженное ощущение превосходства, сознание, что каким-то образом удалось взобраться на самый верх некоего нагромождения, сосуществовало с этим чувством безличности. Но вскоре и это ощущение было жесточайшим образом рассеяно неумолимым демоном реальности. Головоломный психологический кувырок, и Оно оказалось вынужденным сделать неминуемый вывод, что вместо величественного парения в стратосфере, на ложе из ямбических пятистиший, Оно на самом деле лежит на спине в обыкновенной кровати. Над головой — настенная лампа: аккуратный прямоугольник, перламутрово-белый пластмассовый плафон. Свет. Ночь. Небольшая серая комната — светло-серая, такого цвета бывают крылья у серебристой чайки. Лимб, где никогда ничего не происходит, терпимое ни-

что. Если бы не две женщины, пристально глядящие сверху вниз — на него.

Безмолвный упрек на том лице, что поближе и потребовательнее; ОНО вынуждено волей-неволей сделать еще один вывод: по какой-то причине именно ОНО оказалось в центре их внимания и даже стало чем-то вроде «Я». Лицо улыбнулось, склонилось, на нем появилось выражение сочувственно-скептической встревоженности, чуть окрашенной подозрением, — а не симуляция ли все это?

— Дорогой?

Новый, болезненно быстрый и уничтожительный всплеск интуиции, и ОНО осознает, что ОНО не просто «Я», но «Я» мужского рода. Вот откуда, по всей вероятности, явилось это заполонившее его чувство приниженности, бессилия, тупости. ОНО, «Я», то есть, скорее всего, — он, наблюдал, как губы плавно опустились, словно на парашюте, и приземлились прямо посреди его лба. Прикосновение и аромат — это уже не могло быть ни фильмом, ни сном. Теперь это лицо нависает над ним. Из ярко-красного овала исходят слова:

— Дорогой, ты знаешь, кто я?

Он молча смотрит.

— Я — Клер, разве неясно?

Вовсе не ясно.

— Я твоя жена, дорогой. Вспоминаешь?

— Жена?

Странное, тревожное чувство: он понимает, что что-то сказал, но лишь потому, что источник звука так близко. В карих глазах над ним — тень

обиды: ужасающее предательство, супружеская неверность. Он пытается соотнести произнесенное слово с этой личностью, личность — с самим собой; не удастся; тогда он переводит взгляд на лицо той, что помоложе и стоит подальше, с другой стороны кровати: она тоже улыбается, но равнодушно-профессионально. Эта другая личность — руки в карманах — наблюдает, явно в состоянии профессиональной готовности; на ней белый медицинский халат. Теперь и ее рот порождает слова:

— Вы можете назвать свое имя?

Ну разумеется! Имя! Никакого имени. Ничего. Ни прошлого, ни — где, ни — откуда. Пропасть осознана, и почти одновременно приходит сознание непоправимости. Он отчаянно напрягает силы, как падающий, что пытается удержаться, но того, за чем он тянется, за что хочет ухватиться, — этого просто нет. Он пристально смотрит в глаза женщины в белом халате в неожиданном приступе всепоглощающего страха. Она подходит чуть ближе:

— Я — врач. Это ваша жена. Будьте добры, посмотрите на нее. Вы ее помните? Помните, что видели ее раньше? Что-нибудь о ней помните?

Он смотрит. На лице жены — ожидание, надежда и в то же время боль, чуть ли не обида, будто владелица этого лица оскорблена и бессмысленностью процедуры, и его молчаливым пристальным взглядом. Она кажется изнервничавшейся и уставшей, она слишком ярко накрашена, и вид у нее такой, будто она надела маску, чтобы сдерживать рвущийся наружу вопль. А кроме всего про-

чего, она требует от него того, чего он дать ей не в силах.

Рот ее начинает исторгать имена — имена людей, названия улиц, домов, городов, разрозненные фразы. Может, он и слышал их раньше, как и другие слова, но он и представления не имеет, с чем они должны соотноситься и почему; чем дальше, тем больше они звучат как свидетельство совершенных им преступлений. Наконец он качает головой. Ему хотелось бы закрыть глаза, обрести покой и — в покое — снова все забыть, снова слиться с чистой страницей забвения.

— Дорогой, ну пожалуйста, попробуй. Прошу тебя! Ну ради меня! — Она ждет секунду-другую, потом поднимает взгляд на врача: — Боюсь, это бесполезно.

Теперь над ним склоняется врач. Он чувствует, как ее пальцы осторожно раздвигают ему веки — она разглядывает что-то в его зрачках. Улыбается ему, будто он ребенок.

— Это — отдельная палата в больнице. Здесь вы в полной безопасности.

— В больнице?

— Вы знаете, что такое больница?

— Катастрофа?

— Перебой в подаче энергии. — Слабый намек на иронию оживляет ее темные глаза, благословенная соломинка утопающему — юмор. — Мы скоро включим вас снова.

— Не могу вспомнить, кто...

— Да, мы понимаем.

Другая женщина произносит:

— Майлз?

— Что такое «майлз»?

— Твое имя, дорогой. Твое имя — Майлз Грин.

Легкий промельк, незнакомый предмет, словно крыло летучей мыши во мгле, исчезает чуть ли не до того, как удастся его заметить.

— А что случилось?

— Ничего особенного, дорогой. Все поправимо.

Он понимает — это неправда, и она понимает, что он понял.

Что-то слишком много получается понимания.

— Кто вы?

— *Клер. Твоя жена.*

Она опять произносит это имя, но теперь с вопросительной интонацией, словно и сама усомнилась — она ли это. Он отводит глаза, смотрит в потолок. Странный какой-то потолок, но успокаивает; серебристо-серый, как чайка; да, чайки... чаек он знает; потолок чуть изогнут, образуя неглубокий купол, весь в маленьких квадратах, будто простеган или подбит ватой, каждый квадратик — выпуклый, навесной, с небольшой, обтянутой мягкой материей пуговкой в центре. Впечатление такое, будто он состоит из бесконечных рядов кротовин или муравейников, перевернутых вверх дном. Где-то в воцарившейся на миг тишине раздается новый, навязчивый звук, не замеченное до сих пор тиканье часов. Врач снова склоняется над ним:

— Какого цвета у меня глаза?

— Темно-карие.

— А волосы?

— Темные.
 — Цвет лица?
 — Бледный. Гладкая кожа.
 — Сколько мне лет, по-вашему? — Он молча смотрит. — Попробуйте угадать.

— Двадцать семь. Восемь.
 — Отлично. — Она одобрительно улыбается, потом продолжает — деловым, нейтральным тоном: — Так. Кто написал «Записки Пиквикского клуба»?

— Диккенс.
 — «Сон в зимнюю ночь»? — Он опять молча смотрит. — Не знаете?

— «В летнюю».
 — Прекрасно. Кто?
 — Шекспир.
 — Какое-нибудь действующее лицо в пьесе помните?

— Боттом. — Подумав, добавляет: — Титания.
 — Почему вам запомнились именно эти двое?
 — Бог его знает.
 — Когда в последний раз вы видели ее на сцене?
 Он закрывает глаза — думает; потом опять открывает их и качает головой.

— Не существенно. Ну-ка, восемью восемь?
 — Шестьдесят четыре.
 — От тридцати — девятнадцать?
 — Одиннадцать.
 — Очень хорошо. Высший балл.

Она выпрямляется. Он хотел бы объяснить, что все ответы взялись ниоткуда и то, что он загадочным образом оказался способен отвечать пра-

вильно, только усилило непонимание. Он делает слабую попытку сесть, но что-то его удерживает... он плотно закутан в простыню, одеяло тщательно подоткнуто под матрас да к тому же — слабость, которой нет желания противиться, словно в ночных кошмарах, когда между желанием двинуться и самим движением лежит бесконечность... бесконечное пространство детской кроватки.

— Лежите спокойно, мистер Грин. Вам ввели успокоительное.

Тайная тревога возрастала. И все же, видимо, можно было доверять этим настороженным, настойчивым темным глазам. В них виделась приглушенная ирония давнего друга — друга противоположного пола; сейчас взгляд был совершенно отстраненным, но в нем можно было заметить слабую тень более нежной заинтересованности. Другая женщина погладила его по плечу, снова претендуя на свою долю внимания.

— Нам надо перестать волноваться. Отдохнуть. Всего несколько дней.

Он неохотно переводит взгляд на ее лицо; это «нам» вызывает инстинктивное желание противоречить.

— Я вас никогда раньше не видел.

Женщина издает смешок, короткий и почти беззвучный, будто это кажется ей забавным: какая нелепость!

— Боюсь, все-таки видел, дорогой. Каждый день на протяжении последних десяти лет. Мы *ведь муж и жена*. У нас — дети. Ты *должен* это помнить!

— Я ничего не помню.

Она глубоко вздыхает и опускает голову; потом снова поднимает глаза на женщину-врача, стоящую по ту сторону кровати; но теперь он ощущает, что, укрывшись за профессионально сдержанной манерой, врач разделяет его возрастающую неприязнь к этому стремлению — пусть и не выраженному словами — обвинить, связать моральным императивом. Женщина слишком уж настаивает на своем праве обладания им, а ведь человеку необходимо прежде всего знать, кто он, только тогда он может захотеть, чтобы им обладали. Его охватывает непреодолимое желание остаться в неприкосновенности: пусть он — объект, на обладание которым она, может, и претендует, с этим бороться он не в силах, но он не ручной зверек, чтобы так легко поддаться этим ее претензиям. Лучше всего снова погрузиться в ничто, в лимб, в серебристо-серую, чуть слышную тикающую тишину. Он медленно опускает веки. Но почти в тот же момент раздается голос врача:

— Я хотела бы начать кое-какие предварительные процедуры, миссис Грин.

— Конечно, конечно. — Он замечает умильную улыбку на *женолице*, взгляд устремлен на противоположную сторону кровати, женщины смотрят друг на друга. — Такое облегчение — знать, что он в хороших руках. — Молчание. Потом она продолжает: — Вы ведь сразу же дадите мне знать, если...

— Сразу же. Не волнуйтесь. Неспособность ориентироваться в первое время — явление совершенно нормальное.